

учение только как идеал, сам предрек, что до конца мира будет борьба и развитие (учение о мече), ибо это закон природы (...) человек беспрерывно должен чувствовать страдание, которое уравнивается райским наслаждением, то есть жертвой» (20, 173, 175). Только от самого человека, от его свободной воли зависит, насколько он сможет мужественно, с открытыми глазами и добрым сердцем противостоять соблазнам зла и способствовать победе добра в своей личной и общей нашей земной жизни. Вопреки Гоголю, никаким объективным усилием художника и магией искусства Маниловы, Коробочки и Чичиковы не могут быть воскрешены и преображены. Но при условии искренности, отсутствии боязни тяжелого труда над собой и при ощущении своей нравственной вины перед окружающими людьми путь искупления и стремления к идеалу открыт перед каждым человеком, в том числе и перед нами. Таков был ответ автора «Братьев Карамазовых» на вопрос, поставленный создателем «Мертвых душ». И хотя далеко не все предвидения Достоевского, как показала история XX в., сбылись (да и ни один — даже самый великий — писатель не может, думается, предвидеть всю сложность будущих путей развития человечества), мы должны быть счастливы уже тем, что идеи Достоевского — художника и мыслителя — о будущем неразрывном единстве культур России и Европы и о способности людей противостоять силам зла и насилия в своем стремлении к нравственной свободе и идеалу братского единения людей вошли в качестве неотъемлемой части в нашу сегодняшнюю жизнь и в объединяющие и вдохновляющие нас общие устремления. И хотя эти возвышенные цели еще не достигнуты нами сегодня (да и сам Достоевский порою — в особенности в своей поздней публицистике — не всегда оставался верен им до конца), мы надеемся, что если не нам, то будущим поколениям удастся добиться их осуществления.

Р. БЕЛКНАП

О ТРАДИЦИИ ЭПИСТОЛЯРНОГО РОМАНА В «РОМАНЕ В ДЕВЯТИ ПИСЬМАХ» ДОСТОЕВСКОГО

В 1844—1845 гг. Достоевский написал примерно девяносто писем. Больше семидесяти из них появилось в литературных произведениях: пятьдесят три в «Бедных людях», семь в первом варианте «Двойника», а в «Романе в девяти письмах», как и следует ожидать, — одиннадцать. В этой статье я стараюсь связать «Роман в девяти письмах» с некоторыми особенностями поэтики эпистолярного жанра, несомненно известными читателям «Романа в девяти письмах».

По свидетельству Достоевского, он сочинил этот «роман» за одну ноябрьскую ночь в 1845 г. Так ли это на самом деле, трудно сказать, потому что в письме брату Михаилу, где он рассказывает о происхождении этого «романа», можно найти по крайней мере так же много литературного, как и в эпистолярных романах: «Ну, брат, никогда, я думаю, слава моя не дойдет до такой апогеи, как теперь. Всюду почтение неизмеримое, любопытство насчет меня страшное. Я познакомился с бездной народу самого порядочного. (...) На днях воротился из Парижа поэт Тургенев (ты, верно, слышал) и с первого раза привязался ко мне такую привязанностию, такую дружбой, что Белинский объясняет ее тем, что Тургенев влюбился в меня. Но, брат, что это за человек? Я тоже едва ль не влюбился в него. Поэт, талант, аристократ, красавец, богач, умен, образован, 25 лет, — я не знаю, в чем природа отказала ему? (...) Некрасов между тем затеял „Зубоскала“ — прелестный юмористический альманах, к которому объявление написал я. Объявление наделало шуму; ибо это первое явление такой легкости и такого юмору в подобного рода вещах. Мне это напомнило 1-й фельетон Lucien de Rubempré (...). Вечером у Тургенева читался мой роман во всем нашем круге, то есть между 20 человек по крайней мере, и произвел фурор» (28, 115—116).

В этом письме Достоевский, возможно, думает о себе как о занимательном герое романа Бальзака, но в данном случае скорее похож на гоголевского Хлестакова, описывающего удивленным провинциальным обывателям петербургский литературный мир за десять—двадцать лет до того. Будь то действительность или литература, Достоевский явно думает о жанре писем, когда он пишет это письмо. За год перед этим он нарочито отступал от литературного вкуса того времени, когда писал «Бедных людей» в жанре по крайней мере на поколение устаревшего эпистолярного романа, и почти неприлично гордился тем, как принимали эту повесть. А теперь он кончает это письмо о новом эпистолярном

«романе» следующим метаэпистолярным постскриптумом: «Я перечел мое письмо и нашел, что я, во-1-х, безграмотен, а, во-2-х, самохвал» (28, 116).

Я определяю письмо не по Аристотелю или Бахтину — не как одну половину диалога, но технически, как текст, который начинается с обращения и кончается подписью. Это определение снимает проблему взаимоотношения писателя с читателем, хотя и затрагивает вопросы о нулевом обращении или подписи, состоящей из одной буквы или нескольких.

Это мое определение не отделяет также литературных писем от писем в реальной жизни (если таковая вообще имеет отношение к делу). Недостаток в моем определении жанра — тот же, что и во всех ученых работах о ранней эпистолярной литературе: каковы критерии ее литературности.

«Собрание настоящих писем часто очень трудно отличить от эпистолярного романа... В одном отношении эпистолярный роман отличается от собрания писем: как бы подробны ни были настоящие письма, в них всегда что-нибудь неясно постороннему. Нам нужен комментарий, который объяснял бы, кто переписывается, на что они намекают в данном месте, какие пропущенные события необходимы для понимания целого и т. д.», — пишет одна исследовательница.¹

Короче говоря, если книга информативна, то это роман, а не собрание настоящих писем. В период великих эпистолярных романов Россия не произвела никаких романистов масштаба Ричардсона, Руссо, Гете или Лакло; и, может быть, только «Бедные люди» Достоевского, два поколения спустя, дают России значительное место в истории эпистолярного романа. «Роман в девяти письмах» — прощание Достоевского с приемами эпистолярной формы. Еще в «Бедных людях» он прибегал ко многим традиционным возможностям эпистолярного повествования. Эти возможности — легкость, с которой читатель может проследить биографии отдельных героев; взаимодействие повествователей, рассказывающих об одном и том же событии; отношение между временной последовательностью повествователей писем и точкой зрения повествования, создающие у читателя ощущение и ожидания, и непосредственности.

«Бедные люди», «Двойник» и «Роман в девяти письмах» восходят к еще одной традиции, вполне реальной традиции грустной строгости канцелярской жизни, в которой живы трафареты XVIII в. Эти формулы, знакомые всем читателям Достоевского из обыденной жизни, дали ему средства выражения, которых мы часто не понимаем сегодня. В 1845 г. один из писемовников позволяет понять общественное и сюжетное значение обращения «милостивая государыня» в тексте «Бедных людей»: «В русском языке форма обращения в письмах к Государю и императорской фамилии определяется законом. — В письмах же к прочим лицам она есть следующая: к высшим нас: *Милостивейший Государь* или *Государыня*; к равным *Милостивый Государь мой*; — в

¹ Wurzbach N. The Novel in Letters. Epistolary Fiction in The Early English Novel. 1678—1740. Coral Gables. University of Miami Press, 1969. P. X.

письмах к гораздо низшим: *Государь мой*; — в письмах к знатым особам, имеющим княжеское или графское достоинство: *Светлейший* или *Сиятельнейший Князь*, *Сиятельнейший Граф*».²

Семиотика приветствий, дат и подписей предоставляет возможности, недоступные другим жанрам романа. Даты писем очевидно определяют хронологию романа, но в мире писем, в котором Макар Девушкин вырос, уже одно то, как обозначено число, выражает всю полноту того или иного рода общественных отношений. По письмовнику Н. Сокольского, изданному в годы молодости Макара Девушкина, «число письма полагается иногда вверху, когда пишут к низшему. С равными себе лучше полагать его в конце: при том надобно в том согласиться, что гораздо учтивее полагать его после подписи, особливо когда пишем к знатым особам, или высшим, хотя и вошло в обыкновение полагать его на стороне против подписи. В письмах не должно беречь учтивостей, и быть в оных скуп; лучше, как мы сказали, быть с лишком учтиву, нежели не быть довольно учтиву».³

Как большинство читателей «Бедных людей», Макар Девушкин, конечно, инстинктивно понимал семантику частей писем, но ориентировался он на литературный, а не на канцелярский язык писемовников. «Роман в девяти письмах», наоборот, скорее вызывает аналогии с письмовником Н. Сокольского. Иван Петрович пишет, в частности, в четвертом письме «Романа в девяти письмах»:

«Рассчитываете, может быть, на скорый отъезд мой в Симбирск и думаете, что не успею концов свести с вами. Но объявляю вам торжественно и свидетельствуюсь при том честным словом моим, что если пойдет на то, то я нарочно готов буду еще целых два месяца прожить в Петербурге, а дела своего добьюсь, цели достигну и вас отыщу. И мы умеем подчас действовать в пику. В заключение же объявляю вам, что если вы сегодня же не объяснитесь со мною удовлетворительно, сперва на письме, а потом личным образом, с глазу на глаз, и не изложите в вашем письме вновь всех главных условий, существовавших между нами, и не объясните окончательно мыслей ваших насчет Евгения Николаича, то я принужден буду прибегнуть к мерам, вам весьма неблагоприятным и даже самому мне противным.

Позвольте пребыть и т. д.» (1, 234).

У Сокольского, в разделе «Письма, выговор или жалобу содержащие», есть сходные угрозы:

«Государь мой,

Я давно примечаю из ваших поступков и оборотов, что вы хотите нарушить данное мне слово; и есть ли это делается, то я вас почту за жесточайшего себе врага. Вы меня давно знаете, я не люблю, чтоб надо мною смеялись, и не могу этого сносить спокойным духом. Поверьте

² Образцовый Письмовник, или Хрестоматия писем, содержащий в себе письма на разные случаи жизни общественной. М., 1845. С. 5.

³ Сокольский Н. Кабинетский и купеческий секретарь, или Собрание наилучших и употребительных писем. М., 1795. С. 26.

мне в сем случае, храните верность и не доводите меня до крайности, иначе лишусь я удовольствия быть, Государь мой, Вашим и пр.

Иван Петрович». ⁴

Наверное, ни Достоевский, ни преобладающее большинство читателей «Романа в девяти письмах» не знали письмовника Н. Сокольского, но все они читали хотя бы один из сотни подобных письмовников или некоторые письма великого множества полуграмотных людей, пользовавшихся такими письмовниками. И все русские письмовники восходят к западным письмовникам, к которым восходят романы Ричардсона и которые в свою очередь сами восходят к возрожденческим, византийским и эллинистическим текстам. Почти за две тысячи лет до Достоевского Псевдо-Димитрий сочинил или, наверное, позаимствовал откуда-то следующее письмо:

«Если вы думаете, что вам не придется дать отчет в том, что вы предпринимаете, что ж, попробуйте, сделайте это. Но вы ясно увидите, что, ни восходя на высоты, ни спускаясь в глубину, вы никак не сможете отвратить возмездие. Ибо вы не найдете никаких средств, чтобы избежать страдания». ⁵

Когда Достоевский прибегал к этой древней традиции, он, наверное, не знал, что Псевдо-Димитрий составил полный список типов писем: дружеских, хвалебных, укоризненных, ругательных, утешительных, наставительных, официально-ругательных, угрожающих, язвительных, превозносящих, соболезнающих, просительных, вопросительных, аллегорических, дающих отчет, обвинительных, извинительных, поздравительных, иронических, благодарственных. ⁶

Сопоставив список Псевдо-Димитрия с «Письмовником» Сокольского, мы представим себе преемственность той эпистолярной традиции, к которой Достоевский прибегает в своих ранних произведениях:

«Кабинетский и купеческий Секретарь, или Собрание наилучших и употребительных писем, как то: похвальных, рекомендательных, советовательных, увещательных, просительных, услугу предъявляющих, благодарительных, утешительных, поздравительных, нравоучительных, выговор или жалобу содержащих, извинительных, дружественных, с краткими для сочинения оных наставлениями».

Достоевский, его герои и его читатели вполне сознавали не только семиотику композиционных частей писем, но и таксономию писем. В «Романе в девяти письмах» он испробовал новый для него жанровый тип, прежде чем окончательно отойти от эпистолярного романа. Но наука о письмах — только один из источников, взаимосвязь которых, по моему мнению, составляет главное достоинство «Романа в девяти письмах».

В «Бедных людях» в центре фабулы (по Шкловскому) стоит судьба Варвары, любимой Макаром, Быковым, Покровским и ее родителями. В центре же фабулы «Романа в девяти письмах» — не женщина, а два

⁴ Там же. С. 425.

⁵ Malherbe Abraham T. Ancient Epistolary Theorists. Atlanta Scholars Press, 1988. P. 37.

⁶ Ibid. P. 31.

шулера, которые договорились обокрасть одного молодого человека, который в свою очередь пользуется знакомством с ними, чтобы обольстить их жен. Это несерьезная фабула: даже в течение одной ночи Достоевский мог бы и получше придумать — так думало множество критиков, начиная с Белинского.

Сюжет же (по Шкловскому) «Романа в девяти письмах» почти не привлёк внимания критиков, хотя и заслуживает большего. В первом письме сообщается, что Петр Иванович энергично ищет Ивана Петровича повсюду в городе: «Одним словом, измучился совершенно; судите, как я хлопотал! Теперь пишу к вам (нечего делать!)» (1, 230). Формалисты назвали бы такую фразу мотивировкой, объяснением возникновения текста. Сначала в Европе эпистолярный роман имел успех потому, что сама его природа объясняла существование текста, и некоторые историки романа считают, что он вышел из моды, когда читатели привыкли к роману как литературному жанру, не нуждающемуся в мотивировке. Это «первое письмо» сильно нарушает информативный принцип, отличающий эпистолярные романы от собраний настоящих писем: здесь упомянуты и ребенок, у которого прорезаются зубки, и некие Семен Алексеич, Иван Андреич, Чистоганов, Перепалкин и Симоневич — без малейшего намека на то, что они менее важны, чем Евгений Николаич, жертва интриги шулеров, или их жен, имена которых упоминаются наряду с остальным.

Следующее письмо проясняет литературную природу первого:

«Получаю вчера письмо ваше, читаю и недоумеваю. Ищете меня Бог знает в каких местах; а я просто был дома» (1, 231). Это — формула греческой и римской комедии, в которой очень часто бегущий невольник, вестник с очень важными сведениями, ищет хозяина повсюду, причем иногда он в панике пробегает даже между ног хозяина. Но эта фраза также и сводит на нет мотивировку рассказа, даже сильнее, чем квартиры Макара и Варвары, находящиеся в одном и том же дворе, как бы аннулируют эпистолярную мотивировку «Бедных людей».

В этих двух письмах и далее, до шестого письма, читатели не могут свободно ориентироваться именно потому, что это собрание писем слишком похоже на настоящую переписку, включающую так много лишнего и непонятного. Это неплохой пример того, что французы называют «curiosité» в отличие от «suspense». Если вторая исходит из того, что будет, первая восходит к неизвестности или неясности того, что делается сейчас. Итак, первые шесть писем восходят не к традиции эпистолярного романа, а к настоящим русским письмам, которые сами часто восходят к письмовникам. Тот факт, что ученый издатель, при отсутствии информативности, все же был бы уверен, что это настоящее собрание писем, — почти доказательство реализма (когда то, что кажется, кажется тем, что есть).

Наконец в конце шестого письма фабула проясняется. Жулики обокрали Евгения Николаича и друг друга. В восьмом и девятом письмах оказывается, что Евгений Николаич обдурил их, но не в картах, а в любви. Здесь опять-таки сюжет гоголевский. В «Игроках» Гоголя жертва обводит вокруг пальца шулеров, убегая с их деньгами. У Достоевского шулеры теряют не деньги, а жен, примерно так, как в «Бедных

людях» Достоевский переименовал потерянную шинель, превратив ее в потерю драгоценной человеческой личности. Не деньги — на деньги (как у Гоголя), а деньги — на жен.

Здесь, в шестом письме «Романа в девяти письмах», начинается переход от одного литературного жанра к другому, от реалистического, имитирующего непонятные постороннему детали настоящих писем и пользующегося древними приемами, — к другой, тоже классической традиции, к фабуле римских и «новых» греческих комедий об обольщенных женах, как у Теренция и Менандра.

Так что вопрос о жанровых истоках «Романа в девяти письмах» не так прост, как это представляется на первый взгляд.

Н. В. ЧЕРНОВА

«ГОСПОДИН ПРОХАРЧИН» (СИМВОЛИКА ОГНЯ)

Мотив огня без преувеличения может быть назван одним из основных, определяющих поэтику рассказа Достоевского «Господин Прохарчин» (1846). Подчеркнутая символичность изображенного здесь пожара позволяет утверждать, что Достоевский осознавал его как важную для рассказа «эмблему». ¹ Эта особая эмблемность огня подчеркивает, обнажает корни, истоки «фантастического реализма» в произведении писателя. Реальный пожар в рассказе, случившийся в одном из домов в петербургском переулке, причудливо трансформируется в фантазмагорический сон-бред Прохарчина о пожаре, который сменяется обыкновенной горячкой — болезнью героя. В атмосфере горения ведутся жаркие споры героев о «последних» вопросах, а сами они буквально горят в огне, подыхают их головы, а от Прохарчина остаются как бы «два сучка обгоревшего дерева» (1, 260).

Мотив пожара в «Господине Прохарчине» развивается одновременно в нескольких планах, на разных уровнях. Во-первых, это реальный план на уровне фабулы. Пролежав много лет в углу за ширмами, чиновник Семен Иванович Прохарчин вдруг пропадает на несколько дней. Посланные квартирной хозяйкой на поиски ее «фаворита»-беглеца сожители находят его на пожаре. Реальный пожар подчеркнуто отделяется от последующего бреда Прохарчина о пожаре: «...все увидели ясно, что Семён Иванович еще не отрезвился и бредит; но хозяйка не вытерпела и тут же заметила, что дом в Кривом переулке ономнись от лысой девки сгорел; что лысая девка там такая была; она свечку зажгла и чулан запалила; а у ней не случится, и что в углах будет цело» (1, 253. Здесь и далее курсив мой. — Н. Ч.). Итак, назван точный адрес пожара, конкретная причина случившегося, а в речи повествователя слышны простонародные бытовые интонации рассказчицы Устиньи Федоровны («ономнись», «девка», «а у ней не случится» и т. д.).

Однако этот реальный план уже неустойчив и зыбок, чреват фантастическим, которое усилено топографически (горит дом в *Кривом переулке*) и пространственно (чулан — символ замкнутого пространства). А фантазмагорический образ ущербной «лысой девки» уже тяготеет к

¹ Определение Достоевского. Таких эмблематических выражений в «Господине Прохарчине» несколько, например «ширмы»: «Разбитые ширмы лежали по-прежнему и, обнажая уединение Семена Ивановича, словно были эмблемы того, что смерть срывает завесу со всех наших тайн, интриг, проволочек» (1, 262).